

СЕДАЯ ПЕСНЯ

За Салом, в глухой степи, где вздыбливаются встречные ветра да яростно клекочут бездомные беркуты, грудастый донской жеребец настиг калмыцкую кобылицу.

Длинногривая летела, распластываясь над травой, металась из стороны в сторону, а грудастый напористым галопом шел по следам и, равняясь с ней, ржал буйно и нетерпеливо.

Длинногривая не сдавалась. Она хлестала копытами в грудь дончака, кидалась на него с оскаленными зубами. Уши ее были плотно прижаты, а глаза цвета синеватой нефти, казалось, вот-вот брызнут огнем беспредельной ярости. Это была самая дикая лошадь из калмыцких табунов.

По всей степи носились скакуны, вспугивая медных кобчиков, перемахивая через буераки, птицами взметываясь на курганы. Трава горела под их копытами. На просторе калмыцких кочевий грудастый смял и растоптал упорство длинногривой...

\* \* \*

– Моя мало-мало приплод есть, – сказал опаленный зноем калмык, и его лунообразное лицо засияло.

– Э-ээ, не скажи, Учур. Жеребец-то ведь мой? – неторопливо ответил ему казак.

Калмык запротестовал:

– Ну так что ж, бачка? А кобыла мой, приплод тоже мой, бачка!

– Ну нет... Шутишь ты, Учур... И не по-христиански судишь. – Казак строго помотал пальцем перед раскосыми глазами калмыка. – И где это написано, штоб кобыла святым духом? А? Н-ни-и-и-где! Кобыла што – пустое место! А жеребец туточки винова-а-ат. А жеребец, я тебе говорю, мо-о-ой, – тянул казак. – Стало быть, и о приплоде речи не может быть, акромя как мой, – да и только.

Калмык был уничтожен такими доводами, но отказаться от высказанной мысли не мог.

– Ну, как же, бачка... Мой кобыла ведь, – отчаянно упорствовал он.

– Эх ты, душа астраханская. Да я ж тебе... – И казак снова начинал втолковывать калмыку свою правоту и обещать, что его бог покарает за жадность. Для большей убедительности казак то повышал голос до крика, то понижал до шепота. Калмык слушал и обливался потом.

Полдень застал их в кибитке Учура. Они пили кумыс и продолжали препираться. Эти два человека представляли прямую противоположность друг другу. Калмык был сонлив, неуклюж и колченог. Ходил он вразвалку, а бегать, как и все калмыки-наездники, не умел. Казак же, наоборот, был гибок и прям. Во всех движениях его скользила уверенная лень, а в глазах постоянно вспыхивали лукавые огоньки. Незаметно разговор их отклонился в сторону. Калмык, замирая от страха и любопытства, осторожно выспрашивал...

– И он все может?

– Как пить дать, – утверждал казак, прихлебывая белую жижицу. – Скажем, согрешил ты – не отдашь мне приплод, а бог тут как тут. Ты что ж, говорит, Учур, жеребенка-то Максимова зажилил? А? А рази ж, спросит, такой уговор у вас был? Ну и... – Казак оборвал и потянулся за кисой [Чашка].

– Ну и что, бачка?

– И-и-и, не говори. Осерчает!

– Осерчает?

– Дуже!

Натешившись над калмыком, Максим поднялся с кошмы и вышел. В кибитку донесся его голос:

- Значит, столковались, кунак? Коли кобылка - будет твоя, а жеребчик - мой. Так, что ли? А с счастливого четверть водки магарыча.

Учур, заслышав о водке, закивал головой, заулыбался, блестя глазами. Казак вскочил в седло, поднял плеть и, припав к вытянувшейся шее лошади, растаял в июльском мареве...

А через год, когда степь снова задымилась пестротканьем, Учур появился в станице, во дворе Максима, и закричал пронзительным голосом:

- Моя приплод привел, ставь водка!

Вокруг кобылицы калмыка вертелся тонконогий жеребенок и уморительно прыгал. Максим засмеялся, вспомнив прошлогодний спор.

- Афонька, беги в кабак, - приказал он младшему сыну.

Пока тот бегал, Максим успел рассмотреть жеребенка. С первого же взгляда этот смешной упрямец сильно понравился казаку. Опытный глаз быстро заметил и оценил в нем задатки скакуна.

Прибежавший из монопольки Афонька поставил четверть на стол, достал из погреба соленых огурцов, винограду, порезал пшеничный бурсак, и под черешнями, склонившимися над столом, закипела попойка. Кончилась она тем, что вконец захмелевший калмык в ночь уже сел на выменного за свою длинногривую поджарого мерина и уехал обратно в степь, икая и распевая песни.

Пел о том, что звезды указывают ему дорогу к кибитке, что из жеребенка вырастет хороший скакун и дадут за него целый табун коней, а Учур подарил его казаку за четверть водки.

\* \* \*

На заре, когда казачки, прогоняя коров в табун, петухами перекликаются, приветствуя друг дружку, Максим снова осмотрел сосунка.

- Толк выйдет. Должен выйти, - уверял он себя. - Ну, ну, шельма, - ласково грозил жеребенку, который, собираясь в комочек, норовил лягнуть хозяина. - Ишь ты, азиат!

С этого дня Максим стал растить и холить жеребенка. Каждое утро гонял его по траве, чтобы копытца, вымытые росой, крепили и не были ни хрупкими, ни мягкими. Часто купал его, чистил, кормил как-то по-особенному и никого не подпускал к нему. "Пусть одного хозяина имеет", - думал он. Жеребенок знал голос Максима и, гремя копытцами, стремительно летел на его зов, прыгая через собак, растянувшихся на солнцепеке, свиней, опрокидывая ведра и все, что попадалось ему на пути. Максим так ревностно заботился о своем любимце, отдавая ему все свои помыслы, что тот и в снах стал прыгать перед ним, буйно веселясь. А казак, опасаясь за целостность его ног, испуганно кричал: "Го! Го!" - и, просыпаясь, бежал в конюшню.

Где бы ни был Максим, у соседа ли, в станичном ли кабаке, он неизменно затевал разговор о жеребенке.

- Ну, брат, и конь у меня, ну и конь - и-и-и, - тянул он, сладко закрывая глаза и подперев щеку ладонью. - Конь... конь... картинка! - крутил Максим головой. И вдруг, встрепенувшись и вытаращив глаза, грохал кулаком по столу и хрипел, перегибаясь к собеседнику:

- Знаешь... Ни у кого нет такого! Ни у кого!

- Рано хвалишься, Максим Афанасьевич. Ешо ничево не видно.

- Брешь!

\* \* \*

Долго казак ломал голову, выдумывая, как бы позанозистей назвать жеребенка. Извелся, а не мог подыскать подходящего имени своему любимцу и

пошел к атаману. Тот сидел в палисаднике в одних кальсонах и, изнывая от жары, тянул ирьян.

– Зови Ханом, – посоветовал он. – И коротко и хорошо, а к тому же и конь твой из азиатов, – глубокомысленно закончил атаман и напросился на магарыч.

– Это как будто подходяще, – согласился Максим.

С тех пор только и было слышно в его дворе:

– Хан, чертова голова, куды лезешь, – гудел старший сын Гришка, отгоняя жеребенка от мешков с мукой.

– Ха-а-ан, – ласково кликал сам Максим.

– Хан, проклятущая животиная, – вопили бабы, заметив, как озорной сосунок топчет цыплят. – У-у, идол пучеглазый, бодай тебе покорежило!

Жеребенок срывался с места, взбрыкивая, летел в дальний угол двора, мчался обратно и, вздыбливаясь, насакивал на баб. Те визжали переполошливо и лепили на Хана ядовитейшие ругательства. Максим, прислонясь к амбару, покатывался со смеху.

– О-ххо-ххо! Ой-ой, умори-и-или, – болтал он руками и под яростные взгляды баб покатывался еще пуще и перегибался пополам, как надломленный тополек. А потом он угощал любимца бубликами и сахаром.

Домочадцы роптали:

– Связался черт с грешной душой. То, бывало, во двор не заманишь, а теперь со двора не выпроводишь. Покою нет.

А Максима словно и не касалось это. И лишь когда кто-нибудь вооружался увесистым поленом, намереваясь вздрючить провинившегося бесенка, он выступал на защиту:

– Я тебе...

И покушавшийся, охлажденный грозным окриком, моментально забывал о своем гневе и прощал Хану все его прегрешения. Обрывать Максим любил и умел. Лет пять назад он коротко объявил собравшейся полудневать семье:

– Ну, детки, наживайте, а я вам не слуга боле. Будя, поработал. – И довольным взглядом обвел свой богатый двор. – Ишь добра-то!

Домочадцы переглянулись. Сыновья закашляли, бабы прижухли. Пелагея, седеющая жена Максима, встала и поклонилась мужу:

– Твоя воля, батюшка. И на этом спасибо.

А Гришка, скупой и расчетливый, чуть не плача, загундосил:

– Дык как же так, папаша, покос вить подходит. Мыслимое ли дело?

– Зась... горлан, – грохнул Максим. – Работника наймайте.

И среди тяжелой тишины вышел из-за стола.

С того дня он дома бывал реже, чем ненастье среди летней поры. Либо он сидел в станичном кабаке, который держал грузный казак Свириякин, либо мотался по ярмаркам, покупая и выменивая лошадей. Лошадником Максим был страстным. Все маклеры, конокрады, цыгане области знали его и в глаза и за глаза. Погулять Максим всегда был не прочь. Часто, прокутив все, что бывало у него на руках, он лимонил ключи у задремавшей супружницы и тихонько пробирался в амбар. Пять-шесть приятельских тачанок воровски подкатывали ко двору, мигом нагружались тяжелой пшеницей. А потом Максим снова гулял несколько дней. Когда же Пелагея бодрствовала, а Максиму лень было воровать у калмыков коней на пропой своей души, он промышлял по мелочи.

– Бабка, колесо-то у тачанки совсем покорежилось, – говорил он деловитым тоном. – В кузню надо бы.

– И то верно, – соглашалась Пелагея. – Вот ужо Гришку пошлю.

– Дождешься твоего Гришку. Лодырь губастый. Отец не сделает, так никто не подумает. – И Максим, продолжая ворчать, снимал с тачанки колесо и катил его по улице перед собой.

У церкви Максим останавливался, набожно крестился и, оглядываясь по сторонам, сворачивал в переулок, где ульем гудело свириякинское заведение. Колесо обыкновенно домой не возвращалось.

– Починяет кузнец, – отмахивался Максим на все вопросы домочадцев.

Хан привязал Максима ко двору. Незаметно прошло три года. Из нескладного жеребенка вырос точеный красавец скакун. Легко, по-оленьи, носил он свое тело на тонких ногах и мог долго скакать, не уставая. В его экстерьере не было ни одной задоринки. Знатоки ахали и часами любовались могучим длинно-скошенным плечом, высокой холкой и глубокой грудью. Каждый из них считал долгом, прощупав пах и крестец Хана, многозначительно крякнуть.

Передние ноги скакуна были поставлены узко, а задние широко и прямо, так, что от маклака и до подошвы копыта с внешней стороны можно было провести совершенно отвесную линию. Такая постановка ног у скаковых лошадей – многообещающий задаток. Масть Хана была удивительно красивой: не гнедая, не рыжая, а светло-золотистая с переливами.

От матери ему досталась рыбья гибкость и волнистая грива, а от грудастого отца – напористость в беге, белые чулки на все ноги и в лоб маленькая звездочка с проточиной до самого храпа.

Даже и тогда, когда Хан стоял, в нем чувствовалась напряженная готовность сорваться подобно тетиве. А когда скакал, то конечностей ног не было видно, и казалось, что летит он, не касаясь земли. Всадник же видел отшлифованную струю чугуна, бешено бьющую навстречу.

Зависть и удивление, половодьем разливающиеся вокруг Максима, еще больше возбуждали его гордость и делали его недосыгаемо счастливым. О продаже Хана он и думать не хотел.

– Голову клади – не отдам, – говорил покупателям.

Сотник Сафронов прилип к Максиму, как цимлянский репей к собачьему хвосту. Продай да продай. Они стояли посреди двора и вели горячий разговор. Сотник давал уже за Хана тысячу рублей, но Максим упрямо крутил головой. Тогда молодой офицер выхватил из кармана щегольского кителя пачку кредиток и сунул ее Максиму.

– На, бери, тут три тысячи... больше не имею... на, давай коня.

Максим отстранил деньги.

– Отдай, – чуть не заплакал Сафронов и, сорвав с головы сиреневую папаху, ударил ее оземь.

– Не отдам, – отрезал Максим, швыряя свою.

Сотник побагровел, как спелая слива, резко повернулся и пошел, рубя шаги. У калитки он громко плюнул и так рванул ее, что крашеный частокол задрожал и загудел. Максим же, тихо посмеиваясь, глядел ему вслед.

– На десять, ваше благородие, только отвяжись...

На Успенье в станице открывался кермаш [Большая ярмарка, на которой торгуют главным образом скотом.], и казаки стали готовиться к скачкам. Максим готовился уже давно. Целую неделю кормил он Хана сухарями, на зорях, чтобы никто не видел, проминал его в займище, а на ночь смазывал ему ноги свежим коровьим маслом. Сам же он почти ничего не ел, спал на голой земле, чтобы стать легче, и даже бросил пить. Казак волновался и нигде не находил себе места.

Утром, в день скачек, Максим открыл двери конюшни. Хан встретил его, гремя кованым ржаньем и нетерпеливыми копытами. За это утро домочадцы сбились с ног, снаряжая своего хозяина на праздник. Гришка оправлял новое седло с серебряным набором, Афонька выколачивал потники, а бабы украшали уздечку разноцветными лентами, Максим, стараясь казаться степенным, осматривал подковы Хана. Недавно он собственноручно перековал жеребца, а потому осмотром остался вполне доволен.

– Ну, Хан, смотри не выдавай, – тихо обратился он к своему любимцу и заискивающе погладил его ладонью. – Уж я ли тебя не кохал...

Через час Максим, красуясь бравой посадкой, выезжал со двора. За воротами Хан плавно, как волна, поднялся на дыбы, так же плавно опустился и, чуть покачиваясь, пошел легко, играючи. "Хороший знак", – подумал Максим.

На кермаш съезжались со всего Дона. Были тут и строголицы, бородатые,

словно с икон сошедшие, старообрядцы из глухих хуторов и заимок, цыгане и цыганки, наглые и крикливые неряшливые пастухи с западных степей и диковатые калмыки с дальних кочевий. В этой пестрой толпе шныряли маклеры из Ростова с непомерно толстыми цепочками на жилетках и нафабранными усами.

Кермаш клочкотал, захлебывался в зное, в пронзительной разноголосице.

На вечер орда степняков перекадилась к станичным садам, где сидельцы уже врыли призовой столб и провели плугом глубокую борозду – грань, заходить за которую воспрещалось. Максим беспокойно ерзал в седле, отыскивая чужих скакунов – соперников Хана. "Кольхалины скачут, Дохновы, – молчаливо отмечал он, – вон и фетисовская кобыла. А это? Э-э-э, да и Фроловы скачут". Перед Максимом мелькнул на горбоносом донце продувной и плутоватый Егорка Фролов. В зубах он держал бублик, и его веснушчатая рожица сияла довольством.

Атаман, записав Хана в "скачущие", сказал Максиму, уронив улыбку и глаза на свои лакированные сапоги:

– Видал, у Сафронова какой жеребец? Смотри, парень!

Сотник Сафронов, жажда затмить славу Хана и тем уничтожить его упрямого хозяина, привел из Бухары прекрасного, белого в ржавом крапе скакуна Бухарец на первый взгляд казался нескладным потому, что был длинен и гибок, как кошка, но ходил он мягко, будто плыл, и это заставило Максима насторожиться. "Добрый конь, чего и говорить", – признался он самому себе.

Хан горячился, храпел и часто дыбился, порываясь скакать. Вокруг него толпились степняки. Сафронов прогрел своего бухарца у призового столба. Он то вел его коротким галопом, то пускал на размашистый намет. Ни сотник, ни Максим не замечали друг друга. Станичные казаки, предугадывая, что бой за первенство будет между ними насмерть, хитро перемигивались и пересмеивались.

Дед Сахнов, гордый тем, что больше других знает о Хане и его хозяине, опустив на грудь грязно-желтую бороду, рассказывал окружающим медленно, словно нехотя:

– Приплоду от Хана Максим не желает иметь. Другой, говорит, такой лошади не может быть. Ну, кобылок-то из-под Хана и пристреливает. Плачет, а стреляет.

– Да, держится он за лошадку, – поддакивают слушатели.

– Дык как же, – прыгает дед. – Сыну родному не отдал. Сы-ыну! Приходит, значит, Гришка на леваду ночью – разбудил отца: так и так, батя, отдай мне, мол, Хана, а доли из хозяйства никакой не надо. А Максим и отвечает: "Вот што, сынок, ты пустых разговоров зря не затевай. Помру – твой конь тады, а теперь брысь, не то арапником вздую". Отрубил до-разу! Натянул чекмень на голову и хр-р-р-р, здорово ночевали!

– Эй, кто скачет, становись! – закричали у атаманского стола. Толпа загудела и придвинулась к самому столбу.

– Осади за борозду, о-сс-сади, кому говорят, – надрывались сидельцы, сминая конями край толпы. Наездники строились в шеренгу. Максим, собиравшийся скакать сам, в последнюю минуту раздумал и посадил на Хана Афоньку.

– Смотри... и чтоб плетью ни-ни, – строго-настроено приказал он обрадованному сыну и боком затесался в толпу.

Скачки назначили на двадцать верст. Скакуны должны были перемахнуть за бугор, дойти до мостовской толоки и через бугор же вернуться обратно к столбу. Когда все было готово, наездники отъехали за столб саженей на шестьдесят для разгона. Лица выдавали наездников. На одних стлыла деревянная улыбка, по другим растекалась бледность.

Атаман, размеря шаг, важно подошел к столбу. Окинув окружающее быстрым взглядом, он махнул рукой, давая знак наездникам. Те волнуемой лентой рысью пошли к столбу, ревниво наблюдая друг за другом. Гомон в толпе разом стих, будто его отсекли клинком. В нахлынувшей тишине слышен был только неясный гул, изредка звяканье подков, неосторожное треньканье удил. Кони шли дружно, бок о бок. Пахло кожей, конским потом, чувствовалось огромное

напряжение.

Атаманская рука медленно подняла флажок. Наездники, как по команде, пригнулись и влипли в атамана звереющими глазами. Кони заплясали. Атаман, обрывая томление, резко дернул флажок книзу.

– Пошел! – взвизгнул он, приседая.

Шеренга хлестко метнулась и поломалась. В толпе всадников на миг вспыхнул крик. Кое-где из пыльной завесы поднялись руки с нагайками. От столба по накренившейся земле помчался бешеный ураган.

Толпа ожила и заголосила. Атаман, откинув флажок, по-ребячьи засуетился и, вскочив на первую попавшуюся лошадь, полетел вдогонку скачущим. За ним увязалось еще с полдюжины самых азартных.

Максим, взором проводив скакунов за бугор и чувствуя, как в груди его что-то ноет и давит, опустил на землю и предался терзающему раздумью. Перед глазами его плыли Хан и белый бухарец.

Афонька тоже волновался. Он искоса наблюдал за сотником и видел, как тот, напрягаясь, сдерживает своего скакуна. "Тугоуздая лошадь", – решил Афонька. Время от времени он сам испытывал Хана. Отпускал повод и сжимал ногами его бока, но Хан не менял резвости. Афонька тревожился и еще подозрительнее наблюдал за сотником.

Орда, ожидая появления скакунов, кучками сидела на траве. Разговоры не вязались. Все чаще глаза тянулись к горизонту, подолгу всматриваясь в каждую чернеющую неровность. Некоторые, не вытерпев, скакали к бугру и уныло возвращались обратно.

– Не видно, – разочарованно бросали настороженной толпе.

– Слышишь, Максим, не видно еще, чего задумался?

– Не лезь, – свирепо отрызнулся тот на молодого краснощекого казачка.

Внезапно мальчишка, карауливший на кургане, сорвался и, махая шапкой, погнал буланого жеребчика вниз.

– Идут, идут... – зашумело кругом, затормошилось.

– Где идут?

– Идут, – вопил мальчишка, задыхаясь и осаживая жеребчика. – Скачут... от Кривой межи... сафроновский конь впереди...

– Как?... – Максим зашарил руками по поясу, одернул рубаху.

На бугре одновременно выросли два скакуна. На мгновение они четко обрисовались и нырнули вниз. Склон бугра они взяли так быстро, что толпа вторично увидела их уже несущимися по ровной, как стол, толоке. Белый конь тянулся в струнку, неся высокого сотника, а Хан, казалось, скакал без всадника. Афоньки, прильнувшего к шее коня, не было видно. Сотник часто опускал нагайку на своего бухарца.

– В плеть кладет, – кто-то рассмеялся нервно и зло.

Люди, тяжело дыша, напирали друг на дружку, тянулись, извивались, как черви. Максима била лихорадка. Ему казалось, что Хан отстает, но вместе с тем он хорошо видел, как легок его ход и как напрягается сафроновский конь.

До столба оставалось сажень двести. Теперь уже ясно было видно, что скакуны идут ровно, голова в голову, но бухарец с каждым махом вырывается наперед. Максим похолодел. "Выдаешь, Хан", – тоскливо прошептал он.

Дробный, нарастающий стук копыт больно отзывался в его сердце. В глазах темнело, и словно кто-то настойчиво дергал землю у него из-под ног. "Хан... Ханушка...", – дрожали его посиневшие, как от мороза, губы. Всадники приближались. Над взметывающейся гривой Хана поднялось бледное лицо Афоньки и снова провалилось. Максим рванулся вперед.

– Ходу!.. Ходу! – надрывно крикнул он и покатился по земле, царапая ее ногтями и жалобно скуля.

Вслед за этим случилось то, чего никто не ожидал, и даже впоследствии долго еще сомневались в правдивости происшедшего. Хан, услышав знакомое слово, прынул ушами и вдруг, словно оторвавшись от земли, золотеем лучом блеснул перед самыми глазами людей. Толпа ахнула и разорвалась перед ним.

Последние полсотни саженей Хан пролетел, как ласточка, оставив далеко за собой стремительного бухарца, который перед сокрушающим натиском Хана, казалось, топтался на месте.

Афоньку сняли с седла почти беспамятного. Он хватался за грудь, тяжело ловил воздух, открывая рот, как сазан, выброшенный на берег. Максим висел на мокрой шее Хана.

Кругом выло, стонало, ухало. Бухали выстрелы. Бешеные страсти скручивали, душили орду. Сафронов рванул бухарца и погнал прочь за сады, кровавая ему рот и нещадно полосуюя плетью. По бугру цепочкой тянулись отставшие скакуны. Воющая орда, как буря, двинула в кабак. Пожарищем поднялась пыль.

Кабак звенел. Дрожала, гудела земля. Максим, как расслабленный, вертелся, уходящая направо-налево, лепетал:

- Братцы... дружки... Слово знаю... Слово... Скажу, жизни лишится - обгонит!

- Ве-ерим!

- Ве-е-ерим!

- Братцы... братцы... - молотил себя в грудь.

В сумерках он промчался по станице, выкрикивая слова песни. Он почти лежал на спине Хана, а в руках, обхвативших шею коня, держал бутылку. Хан унес его в степь. Там, на кургане, Максим долго размахивал руками.

- Обогнать? Ш-ш-шалишь! - И он закатывался в хриплом смехе. Хохотал казак, словно тяжелые колеса катил по каменной мостовой.

- Ох-ох-оо-хо! Ха-ха-ха-ха!

Откашлявшись, снова заливался тоненько и пронзительно.

- Хи-хи-хи-хи! - Смех его кувырчался в просторах, мчался, прихрамывая, и обрывался, словно прыгнув куда-то глубоко. Потом Максим растянулся и захрапел. Полнотелая луна, как дородная хозяйка, выплыла и глянула на курган. Польшь задымилась по всей степи, потянуло прохладой. Неумолчно кричали кузнечики, ухали водяные бычки.

Хан бродил над курганом, обнюхивая хозяина. Долго, настороженно вглядывался он в глухую серебряную даль и, словно подавленный ее бесконечным, первобытным величием, вытянул шею и, раздувая ноздри, ослепительно звонко заржал.

\* \* \*

Еще прошли годы, легкие, как облака.

Много подвигов совершил Хан. Сотни скакунов обошел на состязаниях. Скакал Хан с англичанами, с арабами, с карабахами, отпускал на полголовы, а заслышав: "Ходу!" - бросал назад хваленых коней.

На царский праздник приехал в станицу атаман Донского войска. Казаки джигитовали, рубили, кололи - доблесть доказывали. А Максим такое выкинул, что у всех дух захватило. Выскочил наперед, разогнал Хана и в Дон, с трехсаженного обрыва... бух! На лету уже уши коню ладонями зажал.

Рысцой притрусил к яру атаман, смотрит вниз. Струдились и казаки. А на том месте, где Хан грудью воду рассек, расплывается пена... Целую вечность прождали, пока вынырнет всадник... Атаман за это рубль пожаловал Максиму, а Хана осмотрел и вздохнул:

- Царский конь!..

- Казацкий, - поправил Максим.

Рубль, заполученный Максимом, был юбилейный и имел на одной стороне головы царя Михаила и императора Николая Второго. Первого и последнего из дома Романовых. Не многие удостаивались такой награды и хранили ее на божницах и в сундучках. А Максим бросил новенький целковый кабатчику. Поймал кабатчик монету, засуетился. Стол накрыл, овса Хану дал, одежду Максиму потащил сушить. Ржут казаки, глядя на голого, бабы отворачиваются, в

платочки хихикают. А Максим хоть бы хны. Сидит, водку дует да в окно поглядывает, Ханом любитесь.

Много ли человеку счастья надо, и что такое счастье?

У иного оно в потаенном сейфе лежит, у другого босоножкой под чужими окнами кружится, а Максимове плясало, железом подкованное на все четыре ноги. Горела и не горела казацкая жизнь, а на склоне вдруг пожарищем вспыхнула, да так ярко, аж зажмурился Максим.

- Эх, и доля же мне выпала, - сказал он перед смертью. - Спасибо тебе, Хан. Умели мы с тобой песенки петь.

Гладил казак Хана, говорил ему слова ласковые, а Хан к хозяйскому лицу тянулся, колени стибал.

Так прощались друзья-товарищи.

А потом закружилось, помутилось в голове Максима, качнулись сады станичные, волнами заходили. Крест, что на колокольне долгие годы неподвижно торчал, сорвался и поплыл золотым коршуном, припадая на одно крыло. Пламенем куда-то метнулся Хан.

- Бом... Бом.. Бом... - заплакали колокола. О чем это они? Уж не о грешной ли душе? Домочадцы Максимовы реки льют.

- О-о-о-йй, да на ково же ты нас поки-и-и... А старушка-побирушка:

- Шаршшество небешное новопрештавленному... Дед Сахнов:

- Был и нету! Прожил, как гопака на свадьбе отодрал. Дай, кабатчик, штоф под ей-богу. Лю-бил покойничек!

Холит и бережет Афонька Хана, как Максим, ложась в гроб, приказывал. Поджидает брата Гришу с германского фронта, чтобы передать ему или вымолить себе наследство - счастье отцовское. А Хан воды не принимает, от овса отворачивается. Ночами хозяина зовет не дозвется.

- Ешь, ешь, Хан, - убивается Афонька.

Весной помутился Тихий Дон. Замитинговали станицы

- Свобода!

- Свобо-о-ода!

- Послужили белым царям:

- Довольно!

- Свобода? А ну, хлебнем!

Гришка с фронта на фронт переметнулся, домой не зашел. По задонским степям заколыхался в боях 2-й революционный. А на станицу тяжелым орудийным шагом наступал полковник Семилетов.

Первым из первых, как клинок, влетел Сафронов. Камышом зашаталась, зашептала станица.

- Возьмет Хана.

- Отдаст ли?

- Шалишь!

- Купит за грош!

- Есаул!

- Эй, Афонька! Принимай покупателя старинного, выводил коня.

- Не продажный, - бурчит Афонька. Сафронов во дворе, как на параде.

- Мо-олча-ать, сволочь! Афонька кошкой к есаулу.

- Кто сволочь? Душу вырву!

- Назад... - Вороном поднялся наган. Есаул белый-белый.

Остановился Афонька, пальцы скомкал, как веточки, хрустнули пальцы. Есаул к конюшне, Афонька за ним. Плечом дверь подпер. "Не замай, не дам!" За дверь Хан копытами стукнул.

- Не дашь? - задрожали губы есаула. - Не дашь? Становись... К стенке.. - Клацнул курок.

А Афонька изогнулся и железной занозой, что дверь подпирают, есаула по черепу - р-р-р-аз! Мать на крыльчке руками всплеснула.

- Сын-о-к! Головушка твоя горькая...

- Молчи, мать. Где седло?

– Ой, горюшко!

Не видела старуха затуманенными глазами, как Хан вынес Афоньку за ворота.

Вторые сутки скачет Афонька, остановиться не может. Мотается от станицы к станице, от хутора к хутору, не находит след 2-го революционного. Где же тут найти? Степь под метелью стонет. Снега летят – свету не видно. Грудью режет Хан метелицу, мелькает над оврагами. Наудалую! И вынесла удалая.

Носился в степях партизанский отряд, жег экономии, крушил офицерские полки. Пробивался отряд к Дону, к Миронову. А Афонька больше смерти боялся последней минуты расставания с Ханом...

Помчались дни, простреленные, продырявленные. Падали ночи, исполосованные клинками. Шатаюсь, брели окровавленные рассветы, как обозы с недостреленными и недорубленными.

Занимались над степью пожарища. Метались дикие кони, – звезды брызгали из-под копыт. И в каждый бой Афонька летел впереди, пьяный своим счастьем, своей двадцатой весной. Забыл Афонька отцовский завет, забыл про Гришку. В отряде Хан был как золотой в кисете бобья.

К весне прорубились партизаны к Афонькиной станице. Станица ощерилась штыками, злобно заскрежетала пулеметами. И пулеметы на белых снегах, на степном раздолье подписали смертный приговор Хану.

Какими словами сказать об этом? Какими песнями?

Журавлиной – так она высоко в небе и до сердца не достанет. Волчья – за горло берет! А лебединой еще никто не слышал.

Отвалился Афонька от холодеющего коня, поднялся, глухой ко всему, с пустыми, отцветшими глазами. Шагнул – зацепился за ноги Хана. И показалось Афоньке, что Хан не пускает его. И, собрав всю свою силу, сжавшись в кулак, шагнул еще раз, другой, третий.

\* \* \*

Много было боев потом, много было коней, но ни один, ни один не подходил под рост Афоньке. Он часто пропадал теперь по целым суткам. Возвращался так же неожиданно, раздавал отбитых где-то жеребцов и снова исчезал.

– Как гость в отряде, – говорили у костров.

Думали, крякали, качали головами.

К схватке с атаманцами готовились долго и осторожно. Столкнулись в Дубовой Балке и дрались жестоко. После боя тут же построились для переключки,, Командир с побуревшей тряпкой на руке выкрикивал бойцов. И часто молчание отвечало ему. Шеренга конников хмуро темнела. Дымящиеся кони обростали инеем, как богатым, серебряным убором.

– Афанасий Каргин, – крикнул командир, сурово отглядывая шеренгу.

Афонька качнулся в седле. Был он бескровен и слаб. Папаху он потерял в бою, и правое плечо его было глубоко разрублено вкось. Афонька захрипел и не то засмеялся, не то закашлял. Видно было, как он напрягается что-то сказать, но губы его не шевелились. Розовые пузырьки стали появляться в уголках рта и нарастать, как пена.

– Поддержите его, – крикнул командир. – Положить в тачанку. Чего смотрели?

Бородатый казак обнял сползающего с седла Афоньку и, заглянув ему в глаза, опустил на снег, к копытам коней.

– Ему и тут мягко, – сказал он, вытирая о гриву окровавленные руки...

На меже толоки, на той самой погиб Хан, где когда-то славу догонял своему хозяину. Не каждому скакуну выпадает такой конец.

А Афонька в Задонье, под ветрами, сложил свою голову.

Плывут облака над Дубовой Балкой.

\* \* \*

Еще через три весны Гришка пахал землю. Надел достался за бугром, на самом краю вековой целины. И нашел Гришка подкову. Подкова – счастье, домой бери. Дома, повечеряв, Гришка что-то вспомнил и схватился за чекмень. Достал из кармана железинку, к огню поднес. Так и есть!..

...Несется звон из землянки... Динь... Динь... Динь... Золотом сыплются искры... Кует отец подковы с заклятьями, с крестами... На малиновом железе рубит буквы – имя любимца.

Почти стерлось на железинке имя, а все же еще заметно. Голову опустил Гришка.

А ночью встала перед ним степь широкая-широкая. Хан летит по ней, стремена от боков отлетают. Из травы поднимается Максим, смеется. Радостно ржет Хан. Максим за луку хватается.

– Ходу!

У Хана крылья распластываются... Ветер свистит...

Трава кланяться не успевает... Качается степь... Сны... Сны...

1923